**ОБДОРСКИЙ СЛЕД**

 *Минувшее меня объемлет живо...*

 *А. Пушкин*

 *«...живущий лишь материальным слит с материей, его пространство – часть материального мира и обречено на полный распад после его смерти. Но «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное», – учил апостол Павел. И каждому дан шанс обрести при жизни тело духа. Оно не может быть украдено – только самостоятельно взращено, как дерево в твоем собственном саду, с помощью духовных помощников.*

*Если в тяжелый час сумерек души ты внезапно почувствуешь, что тебя окутало поле света, доброты и любви – и сердце, как инструмент, вновь настроилась на музыку жизни, – значит, твой духовный помощник с тобой. Чаще встреча с ним происходит во сне, но может случиться и наяву, к примеру, он пройдет мимо окна кафе, где вы сидите с другом или...»*

Журналист по профессии, моя бабушка Ю не расставалась с любимым синим блокнотом, всегда лежавшим на ее тахте, под чуть примятой подушкой. Эта незавершенная запись была в нем последней.

**\* \* \***

Вижу этот крохотный слабый огонек на темном, почти черном, необозримом пространстве снегов, мне кажется, что он медленно движется, отражаясь в ночном небе. Вот он ближе, ближе, уже можно разглядеть, что это свет узенького оконца деревянной избы-церквушки, в которой стоит и молится маленький сутулый русый священник.

*– Что занесло вас, батюшка, в приобские снега? – это я спрашиваю его ровно через три века. Там сейчас 1728 год.*

Он вздрагивает и озирается: избушка-церковь пуста, темны углы, лишь на суровых иконах блуждают отблески огня, оттого кажется, что лик Николая Угодника совсем живой. От одиночества ведь что не померещится, вот и голос женский прозвучал.

 Что занесло...

Дверь скрипнула. Господи, не разбойник ли? Да, нет, спаси Господи, толмач это Ипат Актамаков, мимо на собаках мчался, вот и заглянул на огонек. Взгляд веселый у толмача. Он и к шаману ходит. И отца Никифора чтит. Небось от шамана-то утаил, что окрестился недавно. На всех местных наречиях легко говорит, с вогулами, зырянами и самоедами, вот и русский освоил, когда окрестился, никто не понуждал, по царскому указу ведь «буде которые иноземцы похотят креститься в православную веру волею своею, и их велеть принимать и крестить, а неволею никаких иноземцев крестить не велеть…», по душевному то есть велению, а получил кафтан в дар и сапоги. А по-русски говорит лучше иного казака из черкас.

– Доброй ночи, отец Никифор. Благослови на доброе дело: хочу до Тобольска завтра ехать, мягкую рухлядь там продать, кормить детей надо.

– Пюв латтен, амнане, элпын апостольской торымквалне шуншан?

– Шуншам[[1]](#footnote-1).

– Помолись. Благословлю на путь-дорожку. – Из темных углов шорохи слышатся. Мыши, должно быть. И откуда берутся они в тундре заснеженной? Где человек осел, там и с ним мелкая божья сия серость. Да и то веселее, когда ни жены, ни детей. Ледяная земля, пустое гудящее пространство – лишь суровые ветры с Оби-реки долетают сюда и летят потом до серых хребтов Рай-Из... – Пошли, Аким, в мой закуток...

Гудит священнический домишко от обских ветров по ночам, точно жалуется: не место здесь русской избе, в обдорских снегах.

– Садись, садись, Ипат, почаевничаем. В Тобольске моим родителям кланяйся. Скажи, жив я, пока не нашла меня жестокая стрела, как моего отца, который с самим митрополитом Филофеем по юртам остяцким ездил... Бог помог – только молитвенно сложенные ладони пронзила, когда он молился, подплывая на лодке к вашему остяцкому берегу. Усердство батюшка мой являл, желая обратить в христьянство население обских юрт... А митрополит наш тогда уж в схиме был именем Феодор...

*Так вот оно что, понимаю я, отец Никифор из Тобольска, а вТобольск что его привело? Какого роду-племени маленький сутулый священник?*

– Славно, что заехал ты ко мне, Ипат. Совсем от одиночества я духом скудею, вот аж голос бабий слышу, будто спрашивает, какого я роду-племени. Такое в тундре у многих русских случается, тундра на пришлого человека морок наводит, а как речь живую услышишь, морок оставляет. Слава тебе господи, скоро здесь не изба моя будет, а церковь возведут, чуть поодаль , там, где ваш крещеный князец Тайшин жительство имеет... А от одиночества меня молитва спасает. С пресветлым Христом беседу веду. Он и во сне ко мне приходит, ласково так смотрит...

– Да и я бы спросил, батюшка, как в наши края ты попал?

– Это, сын мой, само провидение, задолго до Филофея был митрополитом тут Киприан, с собой привез он московских черных да белых попов с их с семьями, всех супротив их воли, стенали оне, и кто еще по пути обманул бдительность Киприана да сбежал обратно, а кто не сумел и до Тобольска остался – судьбу проклинал, что сюда в холодный чужой край на испытания отправила. Один вскоре здесь помер, и вдова его следом ушла, оставили они сиротой мальчонку, вот от мальчонки того корень и побеги дал. Так времечко русское на сибирское в моем роду поменялось... После сюда киевские попы присланы были с митрополитом, дай вспомнить, как его величали, это еще до Филофея... запамятовал. А отец мой женился на дочери киевского певчего, того уже митрополит Филофей взял с собой... Певчие были не все монахи, кто постарше с семьей в Сибирь попал. Да не все тут ладно: матушку мою больно любил другой Филофеев певчий, молодой совсем послушник, Иоаким, от любви своей пострига он не принял, жениться возмечтал, священником стал, а тут ему мой батюшка дорогу и перешел, любовь у них случилась. После взял в жены Иоаким другую, да живут плохо, а сын его младший, Петр, третий год как пономарь у отца в Тобольске... Иоаким сильно тяготится, что у счастливого соперника отрок его на побегушках, ненавистью и обидой пылает, всяческие козни моему батюшке строит, и недоросль той же бесовской тропой ступает, а ведь каженный божий день не попреки, а доброе слово да еду вкусную, попадьей сготовленную, от моего отца видит. Преставился прежний отцов пономарь, славной души был... Не может Иоаким-недруг забыть загубленного счастья, а чем батюшка мой виноват? И, коли вера православная от сердца идет, простить бы должен...

 – Выходит, так.

– И вот, что недавно Бог мне открыл: сильная обида Иоакима, его ненависть – рана назаживающая не одного его, а, выходит, и моя, может, и всего моего рода, у меня дочка растет, сейчас в Тобольске у деда с бабушкой, я и жену просил сыскать мне вместо, значит, во младости своей отошедшей в мир иной моей дорогой попадьи, сыночка-то нашего до дюжины годков ето страдалица вырастила, он сейчас уже дьячок в Березове, а доченьку младенцем мне оставила, сильно чувствительная была, видела однажды, как остяк из сырой рыбы внутренности выедает, в забытье впала. Вот и надеюсь на добрую женщину, коли такую найду, дочка с нами жить будет. И сдается мне, что и мою матушку, и меня, мы ведь с нею были едина душа, пронзила, как отца моего стрела остяцкая, злая ревность Иоакима, ее погубила, а мне рану нанесла, оттого скорбь во мне ежечасная, так рана сия все болит, все гноится и зарубцуется, ооох, чую, очень нескоро...

– Отец Никифор, откровенно скажу тебе: рана твоя от стрелы все той же – тадыма, шамана: отца твоего не сгубила, однако, по-прежнему в твой славный род стрела метит, жаждет погубить все твое древо, через глазницы сына Иоакима, пономаря, в тебя целится, наслал на него ненависть шаман, сделать это легко было посредством Иоакимовой давней обиды, за обиду ненависть зацепилась. А шаман как ветер...

– На то молитва защитная есть, Ипат. Да и зла я на шамана в сердце вовсе не держу. Он ведь веру свою защищал, древних богов своих, коих мы идолами зовем, оттого остяков поднял на Филофея и нас по вере своей судит. К тому ж моя жена-то родная была русской по отцу, ларешному Тверитинову, а у матери ее половина крови –
кондинская...

 *«Ларешный» – это, наверное, от слова «ларь», совсем не к месту спросила я и улыбнулась, вспомнив сюжет про машину времени из старой комедии. Искусство интуитивно угадывает необъяснимое, сокрытое от рационального ума, но обеспокоенный рациональный ум стремится тут же избавиться от смутно угаданного – порой и
с помощью юмора – кратковременного торжества жизни над смертью.*

Оба: маленький сутулый священник и длинноволосый толмач – одновременно тревожно друг на друга глянули.

– Отец Никофор, ты слышал?

 – Слышал, Ипат.

– Это духи тебя пугают. Осенью шаман вызвал их, чтобы сразились они с твоим Христом...

**\* \* \***

...Почему-то я вспомнила одного из своих одноклассников, голубоглазого, крупного, инертного блондина, медвежьи движения которого никогда не совпадали с общим темпом класса, точно все участвуют в кроссе, а Олег очень медленно идет по соседней параллельной дорожке, из-за странного временного смещения от бегущих не отставая. Он занимался каким-то тяжелым спортом, точно никто не знал каким: одни приписывали ему тренировки в секции самбо, другие – упорную борьбу со штангой. Имя его тоже казалось увесистым – возможно, утяжеляло его звучание напластование уже известных мне исторических и литературных ассоциаций. Физическая сила сочеталась у Олега с сильнейшей робостью на уроках. Преподаватели предпочитали его ни о чем не спрашивать: учился он и соображал хорошо, но долгую паузу между вопросом учителя и его ответом не мог выдержать никто. Удивительно, что мальчишки нашего «элитного класса “А”», где процветало издевательство над выбранными раз и навсегда двумя жертвами: толстой девочкой, носившей ручки в пенале еще своего дедушки и прозванной «сарделькой», и коротконогим сыном одинокой почтальонши, к которому припечатали, разумеется, кличку Такса, Олега никогда не высмеивали. Никто ни разу даже не усмехнулся, когда он, вызванный отвечать новым преподавателем, еще не разобравшимся, who is who, минут десять пытался преодолеть робость: тихий голос запинался о самого себя, слова путались, точно глупые малыши под ногами у взрослого, и в самом Олеге в эти для него трудные минуты проступало что-то даже не малышовое, а грудничковое, казалось, изо рта этого огромного младенца вместо слов вот-вот начнут выдуваться бессмысленные пузыри. Зато падающий на пол пенал вызывал в классе гомерический хохот, ликующий стук кулаков о парты и крики: «Сарделька, продай антиквариат!»

Вряд ли Олег за пределами школы продемонстрировал кому-то из одноклассников свои мускулы, скорее всего, его мужская вибрирующая сила просто улавливалась их низшим локатором, тем самым, что заставляете оленей сцепляться рогами, но никогда не даст оленю напасть на тигра. В классе об Олеге вообще мало что знали, он ни с кем не дружил, мне было известно и того меньше: ну из интеллигентной семьи: мама – терапевт, отец – кандидат каких-то технаук. И все. Влюбленная
в красавца-украинца с ахматовской фамилией Горенко, в чем, разумеется, угадывала некий тайный романтический знак жизненного пути, я вообще не обратила бы на Олега внимания, если бы не одна странность: он меня сильно не любил. Его нелюбовь ко мне, ни в чем конкретном не проявляясь, ощущалась мной, как невидимая враждебная эманация.
Я постоянно чувствовала спиной холодящий взгляд (Олег сидел в другом ряду, возле окна), взгляд неприятный, недружелюбный. Если бы Олег был по-детски в меня влюблен и насмешливо отвергнут, его неприязнь имела бы прочные основания. Но я точно знала, что антипатична ему просто так, без всяких на то причин, наверное, он и сам, если порой размышлял на эту тему, не мог понять – почему... Мы с Олегом никогда не подходили близко друг к другу на переменах, и сторонний, не сильно чувствительный человек не смог бы угадать, что между мной и голубоглазым блондином существует какая-то непонятная связь. Однажды, уже в последние школьные дни, перед выпускным, в очередной раз ощутив спиной враждебный взгляд, я почему-то подумала, что неприязнь существует как бы отдельно от Олега, возможно, даже она родилась раньше, чем мы с ним встретились в школе, он лишь почему-то заполняется ею. «Сколько таких чувств, необъяснимых разумом, управляет людьми!» – записала я тогда в дневнике. Усиливало нелюбовь Олега и превращало ее в скрытую ненависть – как ни парадоксально это прозвучит – отсутствие взаимности: я не чувствовала к нему ни капли ответной нелюбви (почему-то я вообще не умею ненавидеть), лишь иногда, вспомнив из-за холода между лопатками о непонятном его отношении ко мне, оглядывалась и проводила по его лицу удивленным взглядом или в те минуты, когда младенческие пузыри пробуждали во мне жалость, могла мельком подумать о нем даже сочувственно. Но превратило неприязнь Олега в идею-фикс не отсутствие ответной нелюбви – непоборимая мощь власти чувства, привязывающего его ко мне, исходила из другого источника. Это я поняла много позже, уже окончив институт, потом второй, выйдя замуж, разведясь... И не желая встречать никого из одноклассников даже в сетевом пространстве.

**\* \* \***

Рассказал одинокий маленький священник толмачу Актамакову о своем отце истинную правду. Но не всю. Возможно, старик и сам недоговаривал, стыдясь признаться сыну, что, получив сквозную рану ладоней, не простил тут же подговоренных князцами остяков, не сокрыл происшедшее, а, всею душой вознегодовав, возвернувшись в Тобольск, малодушно донес самому князю Гагарину, чьи лошади, как поговаривали, звенели серебряными подковами, о нападении на судно схимонаха Феодора, что было властью названо бунтом, а посему воспротивившиеся крещению остяцкие князцы арестованы и отправлены в Березов. Примирился отец Иоанн с князцами по увещеванию самого схимонаха Феодора, пришел после долгого разговора с ним к Гагарину и челом бил, чтобы остяков отпустили. И верно – вскоре их освободили. А вот простить сердцем князца, в него стрелявшего, так старик и не смог: не потому ли, хоть дыры-то от стрелы давно стянулись, и дикий свист, сквозь них прошедший, умчался, сами пальцы правой руки согнулись, точно собрались в каменное троеперстие, навек застывшее?.. Хотел он уже отойти на покой, прося митрополита освободить его по немощи членов от дальних поездок по юртам, но как-то проснувшись ночью, вдруг да и воспринял застывшую в троеперстие длань как Божий знак: мол, до скончания дней своих крестить тебе народ сибирский во искупление того, что до сих пор сих детей тундры не сумел сердцем простить, и остался отец Иоанн служить, приспособившись все делать левой рукой, а правую когда прятать, когда у груди держать. Но, к счастью, отца Иоанна как заказчика из Тобольска в дальние юрты больше не призывали. Схимонах Феодор ушел в монастырь, люди сказывали, помер там от голода, ибо за правдивое суровое слово не любили его ни лживые суды тобольские, ни большой властью облаченные его недруги: назначенную самим Петром годовую пенсию в 200 рублей не выплачивали, хлеба ему не отправляли, заморили старого иеромонаха. А помощник его, отец Иоанн, крестил ныне остяков с татарами, торгующих в Тобольске, и даже двух пленных шведов сподобился, одного из коих потом владыка Антоний в диаконы определил, а другой, с царским имечком Карл, по Березовскому заказу служил теперь надзирателем над новокрещенами, остяками и самоедами.

Оставшаяся без матери внучка подросла: стала во всем помогать бабушке-попадье. Троеперстие дедово она однажды ласково назвала птичкой.

– Ох, уж и выдумщица ты, Стешенька, – улыбнулся отец Иоанн. – От раны остяцкой скорбная длань в троеперстие собралась.

– Птичка Сирин, дедушка... Мне Петруша-пономарь картинки в большой твоей книге показывал, на колени сажал и яблоком угощал. Ласковый он. Обещал после показать что-то еще занятнее.

Ах ты бес-искуситель! Старик побледнел, но ни слова не промолвил. Подозрительно все сие. Не жди добра от сына врага. И следующим утром был уже у архиепископа. Долго тот не принимал, важными делами, видно, озабоченный, лишь к вечеру принял и все выслушал. Не утаил Иоанн от него ни вражду пономарскую, ни отца его, Иоакима, давнюю ненависть, о причинах, правда, говорить не стал: любовь и ревность – чувства сложные, неподсудные, мало ли как отнесется к сей причине архиерей, мог ведь и сам когда-то в юности дальней до монашеского пострига быть отвергнутым девицей, и слезно просил, чтобы другого пономаря заместо Петра ему прислали ввиду несхожести нравов, препятствующих доброму пастырскому служению. А Петрушку пристроить бы куда-нибудь писарем. Грамотой он владеет, хоть и к церковному смирению не склонен. Владыка обещал. В конце беседы подвел он отца Иоанна к окну, погляди, сказал, на небо: то не тучи, а черные стрелы летят сплошным потоком. Вот она, вражда людская.
А я мысленной молитвой и любовью к земле сей трудной, мне доверенной для просвещения, тучи разведу, следи! И точно – скоро открылся, словно синее око самого Господа, в небе просвет. Так велика сила веры, отец Иоанн, все в руцех Божиих. А ты любовью ненависть пономаря укротить не можешь. Стыд.

**\* \* \***

Олег позвонил мне сам.

К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое, подчиняясь голосам давно ушедших, желающих нового воплощения –
воплощения в слове. Желали далеко не все. Лишь те, чья коллизия жизни оказалась как бы незавершенной. Незавершенность могла быть разного рода: невинно пострадавший горный кандидат умер, не узнав
об оправдательном решении суда, следственное дело так бы и пылилось на дне провинциального хранилища, если бы он сам, вызволенный из небытия моей памятью, не попросил найти ветхие страницы в архиве, и, разобрав чужие почерка, очистить честное его имя от налипшей клеветы. Шляхтич-повстанец, отправленный в 1863 году на Нерчинскую каторгу, возжаждав отыскать исток своей внезапной сильнейшей любви к Сибири, любви даже там, за чертой небытия, до сих пор изумляющей его самого, просил вернуть его хоть на несколько дней в то давнее село, где он после каторги жил на поселении и где прислуживала ему добрая старая бурятка. Рассказать о никому неизвестном героическом поступке сельского священника, не оставившего своей церкви в страшные дни Красного террора, просила из небытия его дочь, и – не ради стремления сделать тихого иерея знаменитым, а подчиняясь совсем иной цели – какой – постепенно стало проясняться, когда из небытия бочком, запинаясь порой о слишком длинную рясу, вышел мелкими шажками еще один скромный священник – отец Никифор, потянув за собой нить длиной почти в три века, на которой горели разных лет узелки, – их мне предстояло (или доверено было?) развязать. Именно тогда в моей памяти возник вполне живой и теперь не сильно молодой одноклассник, чья нелюбовь ко мне была для меня, школьницы, загадкой, но сейчас, я поняла это внезапно, словно уловив чью-то направляющую подсказку, могла стать ключом к чему-то гораздо более важному, чем непонятная неприязнь одного человека к другому.

И в 1728 год я попала не по своей воле.

**\* \* \***

Перечитав свою фразу «К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое» и найдя глагол в ней верным, но описание сути самого погружения – недостаточным, поняла: чтобы показать все более точно, сначала нужно упомянуть одну рукопись, которая не была издана при жизни автора, советского академика Золотова, но есть в Сети и, разумеется, отнесена скептиками-ортодоксами к лженауке. Телепатия, утверждал ученый, *«это область бесконечного, в которой наше сознание может соприкасаться с бесконечным множеством точек»*; в одной из глав он рассказывал о своих опытах по телепатической связи с мертвыми. Представляю, как, читая, одинаково негодуют ортодоксы: что верующие, что атеисты. Атеисты не сильно меня беспокоят, поскольку их материализм подобен убеждению человека, находящегося в доме и уверенного, что за пределами стен ничего нет, а вот чувства верующих обижать не хочется. Поэтому я напомню о двух фактах из жизни православных иерархов, один из которых, Филарет Московский, прославленный в лике святых в святительском чине, второй – архиепископ Евгений (в миру Андрей Евфимович Казанцев), по своему желанию поехавший в Тобольск и возглавлявший Тобольскую и Сибирскую епархию в первой половине XIX века. Прошение псковского архиепископа Евгения о переводе в далекую Сибирь вызвано было тремя сновидениями, в которых сначала его мать и отец –
мы не знаем, были они на тот момент живы или уже нет, – и духовный учитель архиепископа митрополит Платон (Левшин), ушедший за несколько лет до своего явления во сне, *«настойчиво указывали ему о необходимости просить перемещения в другую епархию, а митрополит Платон указал именно Тобольскую»*. Это я процитировала статью Википедии. В других источниках находим подобные примеры из жизни святителя Филарета. Как-то владыке приснился покойный отец и предупредил: *«Береги 19 число»* и митрополит Московский, академик Отделения русской словесности, *«19 число каждого месяца проводил особенно благоговейно, старался в этот день непременно служить литургию»*. Скончался святитель Филарет 19 ноября по старому стилю. Известна и другая история про митрополита: *«Один священник с особенным усердием поминал за литургией покойников, так что, если кто раз подавал ему записку о поминовении, он выписывал имена усопших в свой синодик и, не говоря о том подавшему, поминал всю жизнь. При соблюдении такого правила у него составился синодик с таким многотысячным перечнем имен, что пришлось ему разделить его на отделы и поминать по очереди.*

*Случилось, что он впал в какую-то погрешность, так что ему угрожало устранение от прихода. Дело было передано Московскому митрополиту Филарету, и когда преосвященный уже собирался положить резолюцию об устранении его, вдруг почувствовал какую-то тяжесть в руке. Митрополит отложил подпись журнала до следующего дня. Ночью он видит сон: перед окнами собралась толпа народа разного звания и возраста. Толпа о чем-то громко толкует и обращается с какою-то просьбою к митрополиту.*

*– Что вам нужно от меня, – спрашивает архипастырь, – и что вы за просители?*

*– Мы отшедшие души и явились к тебе с просьбой: оставь нам священника и не отстраняй его от прихода.*

*Впечатление этого сновидения так было велико, что Филарет не мог отделаться от него по пробуждении и велел позвать к себе осужденного священника. Когда тот явился, митрополит спросил его:*

*– Какие ты имеешь за собою добрые дела? Открой мне.*

*– Никаких, владыко, – отвечал священник, – достоин наказания.*

*– Поминаешь ли ты усопших? – спросил его митрополит.*

*– Как же, владыко, у меня правило: кто подаст раз записку, я уж постоянно на проскомидии вынимаю частички о них, так что прихожане ропщут, что у меня проскомидия длиннее литургии, но я уж иначе не могу.*

*Преосвященный ограничился переводом священника в другой приход, объяснив ему, кто был ходатаем за него». («Странник», 1862 г.)*

Конечно, ни сон архиепископа Евгения, ни оба сна святителя Филарета не доказывают телепатической связи с ушедшими: первый явлен для человека верующего как Божий промысел, ответ на сердечную жажду миссионерского подвижничества, душевного знания своей трудной миссии, но нельзя отвергнуть и вероятность предощущения нежелательных, а возможно, даже трагических случайностей, грозящих жизни архиепископа, останься он во Пскове. Сон о дате кончины святителя Филарета был пророческим предвиденьем, которым обладал благочестивый старец, а другое сновидение митрополита должно воспринять, в зависимости от веры, либо как проявление заступничества самого Господа, либо как следствие благочестивого сострадания, свойственного владыке даже во сне, облеченного в сновидный образ толпы ушедших. Доказывают эти факты только то, что архипастыри Православной церкви считали вполне возможным последовать совету, пришедшему из потустороннего мира.

**\* \* \***

Совсем темно в тундре, на небе ни павлинова сияния, ни Луны, ни звезд, только крохотная одна звездочка моргает над крышей, ресницы свои опускает, точно молодая попадья-покойница, то ли сон, то ли явь, обнимает нежно она, что-то шепчет ласково, слов совсем не разобрать, вроде зовет за собой, и так на душе у отца Никифора стало тепло, с этим неясно откуда, может, и с того света, пришедшим родным теплом и проснулся...

И, встав, ощутил внезапную тревогу, ступив на холод половиц, поскорее в унты спрятал худые ноги, подошел к окошку: оно совсем заросло ледяной травой, но он и так знает: темно-темно в тундре, метет, метет, метет, мелкий снег закрывает небо: не видать на нем ни сияния, ни луны, ни звезд. И, вспомнив о непроглядной ночи, даже в уютных унтах и стеганом халате сразу замерз отец Никифор. Ох-ох-ох, одно остается зажечь стоящую на столе свечу да прочитать молитву «Отче наш». Что это я, как старик, подумалось: совсем от одиночества одряхлел чувствами, то ли ветры обские сквозь тело дуют, кости мои обвивая, мышцы суша. В Тобольск бы съездить, у материнской груди погреться, да на кого избушку со крестом на крыше оставить? Давно батюшку не видел, да еще письмо от матушки пришло с дурными вестями: Иоаким скончался, а перед тем сын его лампадное масло вылил, жалобу митрополиту написал, будто старик-отец привечает казака-католика Твардовского, но определило церковное начальство парамонаря не в писари, как просил отец Иоанн архиерея, а в далекое сургутское село дьячком по недостатку в северном краю причта, матушка пишет: отец Иоанн винит себя в смерти Иоакима, мол, просил Господа оградить от ненависти его и отроковых издевательств любыми средствами, вот Бог ревнивца и прибрал.

Ворота скрипнули. Господи. Кого несет нечистый? А может, ветер? По скрипу слышу – открывают. Спаси господи, не разбойник ли? И не знаешь, кого здесь больше бояться: то ли мстительных местных охотников, коих обложили со всех сторон, выжимая из них пушные дары за копейку, то ли беглых своих же русских.

В дверь стукнули.

– Ко здесь?

– Отец Никифор, Новицкий я.

– Ах, батюшки, заходи, пошто здесь оказался?

Окончил когда-то Новицкий Киевскую академию и, получив чин казачьего полковника, стал резидентом Мазепы при великом коронном гетмане Сенявском, но вскоре попал в плен и, отправленный в Сибирь, сразу написал русскому царю покаянное письмо. И после охотно участвовал в миссионерских экспедициях схимонаха Феодора, оттого с отцом Иоанном Новицкий близко знаком, даже почти дружен и всю его семью знает.

Сейчас бывший полковник был страшно бледен, не сел, упал на деревянный табурет, заплясавший под ним, точно в падучей.

– С евангельской проповедью к обдорским остякам ездили мы с игуменом Симеоном, накинулись они на него и на меня, аки дикие звери. Убить хотели. Они и крещеным остякам мстят жестоко. Бежали мы постыдно, по дороге с ним разминулись: мои собаки в одну сторону, его –
в другую понесли...

И тут раздался грохот: это нагнавшие Новицкого обдорские остяки срывали с петель ворота.

**\* \* \***

Мне стало страшно. И я закрылась от прошлого, в которое научилась входить с помощью случайно мной обнаруженного канала – канала эмпатического «подключения» к чувствам и состояниям тех, кто хотел бы нового воплощения в словесном пространстве, не имеющем временных ограничений. Мои прошлые объяснения все-таки не совсем верны. Голоса ушедших не звучат, просто внезапно высвечивается в моем сознании кто-то из далекого или не очень далекого прошлого, мне открываются его мысли, я начинаю чувствовать его чувства, самое сильное и не изжитое из которых и заставляет его искать помощи. И я вижу, словно на экране, эпизоды из его жизни. С мертвым такой контакт невозможен. Телепатическая и эмпатическая связь возникает не с мертвым человеком, а с *живым*. Он жив не здесь, а там, в другом времени, где бесконечно мучительно повторяется то, что ему не удалось завершить, приносит страдания то, что ему не удалось понять или узнать, не проходят его боль и страх. И там, в прошлом, он молит о *завершении и освобождении*. И я лишь одна из тех, кому это почему-то доверено – помогать.

**\* \* \***

Была несомненная, хотя и не сразу уловимая завязь символической связи в том, что звонок Олега совпал с моим знакомством с художником Б: Олег увидел нас, идущих по улице из картинной галереи, и позвонил вечером того же дня. Я только что получила, в придачу к первому диплому, именовавшему меня преподавателем истории, второй, удостоверявший, что теперь я имею полное право называться искусствоведом, и как раз о персональной выставке Б собиралась написать для какого-нибудь сайта. По матери живописец имел редкую национальность – манси, о чем мне охотно сообщил, объясняя некоторые фольклорные мотивы своих работ, придававшие довольно примитивному их стилю одновременно экспрессию и экзотичность. Даже его некрасивую наружность материнские гены делали привлекательной: длинноволосый и кривоногий, он походил на шамана, что на многих действовало магически: когда-то на лекциях американского профессора Стэнли Криппнера, специалиста по шаманизму, люди стояли вдоль стен, так сильна была поднимавшаяся волна интереса к тому, что существовало долгие годы в тени. При первой встрече Б вызвал у меня чувство, что я уже знала его раньше, что, впрочем, вскоре легко объяснилось не мистически, а обычной памятью: я вспомнила, что видела фото Б на сайте сетевого журнала «Живопись. Авангард».

Как ни странно, ни звонку Олега, ни тому, что он почему-то знает мой номер, я совершенно не удивилась, испытав, едва он себя назвал, не удивление, а непонятное чувство холодящей тревоги, будто откуда-то, из глубины тьмы, стоящей за моей спиной, за мной стали следить чьи-то узкие черные глаза.

Он пригласил меня куда-нибудь съездить на его BMW: пока некоторые мои ровесники неслись по склону жизни с рискованной беспечностью неумелых горнолыжников, обретая у подножия лишь сломанные лыжи и травмы, порой смертельные – в середине 90-х погиб, спившись за полгода, чернобровый красавец, моя первая любовь, – Олег благополучно получил высшее техническое образование, защитил диссертацию и основал свое ИП.

– С тобой мужик был,– сказал он как-то сразу весьма фамильярно, –
он тебе кто?

– Знакомый художник.

– Все художники асоциалы. Вредная для общества богема.

Впервые мы говорили с Олегом, и, в принципе, сразу стало понятно, что мы с ним люди из разных ментальных пространств, даже его школьная нелюбовь ко мне вполне могла этим и объясняться – формирующийся в нем благопристойный основательный обыватель чуял во мне чужака: именно я стала издавать в классе литературный журнал и совмещала в нем сразу две «должности»: главного редактора и художника. В обществе тогда уже витала мечта о богатстве, и одна из одноклассниц, номенклатурная мечтательная девочка, сочинявшая стихи про византийского императора и розовые облака, предложила назвать журнал «Эльдорадо», что оставшиеся после уроков одноклассники и утвердили не культурным голосованием, а веселыми одобрительным криками. Правда, проявили интерес к журналу далеко не все: с насмешкой отвергла идею литературного журнала секс-символ класса, имевшая репутацию самой глупой и недалекой девицы школы, – наш талант-
ливый историк даже советовал ей бросить пытки непосильной учебой и сразу идти торговать пирожками у ЦУМа, – она демонстративно увела за собой нескольких примагниченных парней. Между прочим, пятью годами раньше только она одна из всего класса попала в Артек, в который, как пафосно заверяли некоторые педагоги, отправляли самых лучших. Одноклассница поехала туда «по блату» (тогда был еще в ходу именно такой способ получения всевозможных благ), просто ее статусный родитель «достал путевку», весьма подточив у меня идею справедливости, о которой твердила на уроках моя любимая учительница литературы. Через несколько лет прогнившие советские колонны рухнули, задавив многих, в том числе и ловкого папашу артековки, быстро нашедшей ему замену. Рассказал мне о ее личной жизни наш учитель истории, теперь немолодой усталый человек, директор частного гуманитарного лицея: однажды мы летели с ним одним рейсом. Представь мой шок, сказал он, когда я случайно обнаружил ее на сайте медицинского университета, ректор, разумеется, ее супруг, известный профессор-кардиолог, писавший диссертации по доброте душевной за своих любовниц: племянница моей жены училась вместе с одной из них, и та не скрывала от приятельниц источника кандидатской степени, даже гордилась своей женской успешностью. За нашу секс-диву профессор сочинил не одну диссертацию, а две. Все-таки жена.

Книга жизни, даже упрощенная до компьютерной игры, не утрачивает главного – требующего освоения неких законов и правил стремления к переходу с одного уровня понимания на другой, и судьба одноклассницы, приоткрыв прячущийся в тени вход под своды законов и правил общественных, сыграла в моей книге жизни витально важную роль, вызвав отвращение к «животному двигателю» общественного бытия и обнажив *ложь социальной жизни вообще*. Я неосознанно превратила одноклассницу в лакмусовую бумажку: даже однажды из чистого любопытства, после ее возвращения из Артека, зашла за ней по пути в школу. Стоя в прихожей, я с интересом наблюдала, как семья: отец, мать и дочь – обильно насыщают свои желудки (меня они к столу, разумеется, не позвали): немолодая дородная женщина со вздернутым покрасневшим хоботком обнаруживала ту же манящую игривую смазливость, что расцветала у дочери, только уже затонувшую в лоснящейся телесной обширности, пожилой отец, тоже с хоботком, более длинным и острым, чем у супруги, прихрюкивал и причмокивал, обгладывая толстую птичью ногу, на щеках разрумянившейся от еды дочери поблескивали жизнерадостные пятна животного жира... Сразу после встречи с нашим историком судьба дала мне возможность увидеть еще один штрих, довершивший картину обильного давнего завтрака: главным бухгалтером в университете, где я в то время преподавала, работала младшая сестра профессора-кардиолога – во время обеда пухлая финансовая чиновница доставала из сумки не меньше пяти больших банок с едой и сладострастно поглощала все содержимое, не оставляя ни крошки: там были мясные салаты, огромные котлеты, заправленные соусами гарниры, пышные сладости... Но особо часто она извлекала из банки упитанные птичьи ноги и обгладывала их, подрагивая изящным хоботком, уже почти запрятанным в слоистые сугробы розово-сахарных щек... Воистину: на обыденных уровнях бытия подобное притягивается подобным.

– Завтра вечером, в семь, буду у твоего подъезда, – сказал Олег.

**\* \* \***

Ипат Актамаков побыл в Тобольске хорошо: сбыв пушнину богатым татарам и казакам, он вез теперь домой муку, соль, сахар, рубахи и даже медные пуговицы в подарок жене, но больше для обмена с соплеменниками, – большая радость для их жен, любивших нанизанными на рыбную нить пуговицами украшать свою грудь, – надеялся он выменять блестящие кругляшки на пару оленей. Еще не стаял снег, лишь кое-где обнажил землю с холодными бельмами льда. Собаки бежали споро, веселый возница то насвистывал, то напевал, то предавался хитрым приятным размышлениям о своем нынешнем достатке. О сородичах Актамаков был мнения самого невысокого. Порой и стыдился грязной их юрты, нищей одежды и дикости нравов. Кроме как звероловства, рыбной ловли и сбора пуха, и занятий-то у них не было. Русские, подчинившие племена остяков и вогулов, да и магометане, претендующие на потомственную сибирскую власть, нравились ему больше: казаки здесь и даже крестьяне русские одеваются чисто, ведут себя степенно, почти все грамоте обучены, правда, бывают казаки, что жадны больно, даже своего православного Бога не боятся, разрывают могилы инородческих князьков и забирают оттуда серебро. Но кара тадыма-шамана вскоре их настигает: дети осквернителей умирают малых годков, сами они болеют или от инородцев гибнут, бывает, что расправляются с татем самоеды, веру чужую не принявшие. Магометане тоже русских не сильно любят, в Тобольске порой церковные службы срывают, но выгоды ради торговые дела ведут со всеми. Ипат думал даже сначала их веру восточную принять, но поселившейся среди крещеных остяков отец Никифор больно ему понравился: светлый такой, точно полярное солнце, на слово ласковый, на угощение щедрый. Вокруг его избы-церкви шесть деревянных изб остяцких: окрещенные им семьи даже юрт деревянных себе не стали строить, по-русски в домах живут, – и все они любят отца Никифора больше своего Обского Старика, до сих пор тайно помогающего им рыбу ловить. Родителей отца Никифора Ипат в Тобольске повидал: поп Иоанн стар, согнут, как стружка, бабушка-попадья добрая, потчевала Ипата всем, что имела, дочурка Никифорова Стеша славная, улыбчивая... Но свое крещение и свое имя новое Ипат от шамана и даже от своей семьи скрывает тщательно. Осторожен остяк-толмач Актамаков. Двойною жизнью живет. Оттого и заезжает к отцу Никифору лишь под покровом ночи. Дорога побежала мимо замерзшей реки Полуй, вот и поворот к остяцкой деревне, сейчас в темноте должен сверкнуть обледенелым крестом самый крайний священнический дом. Вдруг и точно что-то в снегу сверкнуло, а затем сразу все небо вспыхнуло: это зеленое полярное сияние взошло на тундрой и осветило окрестности. Собаки по окрику Ипата встали. Черное пепелище предстало взору потрясенного остяка: не было ни одной уцелевшей избы, леденели на дороге изуродованные и оскверненные трупы. Ипат спешился и, подойдя к обугленному столбу, оставшемуся от ворот избушки-церкви отца Никифора, заплакал. К столбу пристыла повешенная собака с поднятой вверх передней лапой.

 Пазори погасли.

**\* \* \***

– Наружность у него какая-то странная, – сказал Олег. – Дикая.

Мы ехали по шоссе к лесопарку. Машину он вел хорошо, и мелькающие близгородские пейзажи, чуть раскрашенные приближающейся, еще не наступившей осенью, настраивали бы меня, любительницу автомобильных дорог, на медитативный лад, если бы не тяжелила общение ощущаемая мной неприязнь Олега: за прошедшие годы она никуда не исчезла и сейчас вызывала у меня неприятное холодящее напряжение.

– Он наполовину манси.

Мы снова говорили о художнике Б.

– Манси?

– Когда-то их называли вогулами.

– Вогулами? – Олег, переспросив, довольно долго молчал: его школьная манера творить паузы, точно вопрос и ответ были разведены по разным словесным берегам, у него осталась. Мы подъехали к лесопарку, припарковались, и, оставив машину на стоянке, вошли в ворота. –
Дед мой рассказывал, кто-то из моих предков учил вогулов и каких-то... забыл.

– Остяков, наверное. Ханты по-современному. Или самоедов, это ненцы.

 – …а может, лечил. Не помню. Дед умер, некого теперь спросить.

В моем сознании вмиг все соединилось: вогулы, остяки, его фамилия, постоянно мелькавшая рядом с фамилией моих собственных предков по одной линии во множестве документов XVIII века и XIX, которые я видела и читала, еще работая в университете, и его давняя неприязнь, улавливаемая мной даже сейчас и вызывающая душевное напряжение. Как странно, что я ни разу не вспомнила ни Олега, ни его фамилию, изучая в архиве исторические свидетельства о северном крае. С 1700-х годов по тобольским мостовым, по снегам березовским и сургутским, по тундре вечномерзлой пунктиром проходила, иногда на десятилетия теряясь и вновь возникая, родовая линия отца Иоанна, тобольского заказчика: его внук, сын убитого обдорскими остяками священника Никифора, сам стал миссионером, многие его потомки, как близкие, так и отдаленные, – ступали с крестом в руке по тем же следам...

– Ты сам-то понимаешь, почему меня ненавидел в школе? – спросила я. Мой неожиданный вопрос и его ответ, соединившись, оказались как бы половинами двух совершенно разных мостов, возведенных в разные эпохи.

 – Думаешь, ты была в классе звездой?

Мы немного побродили по лесопарку и поехали в город. Читатель, обожающий триллеры и ждавший чего-то острого, конечно, разочарован: ничего подобного не произошло. Зачем Олег вообще затеял прогулку с женщиной, которую еще с детской поры не любил? Не пробуждалась ли у него робкая тяга к творчеству, свободный импульс которого он угадывал во мне, школьнице, тяга, превратившаяся затем в неприязненное любопытство к представителям среды, осуждаемой в его родительской семье, через чей запрет он, будучи «хорошим сыном», переступить не смог? Такое средовое неприятие показал еще Томас Манн – и как причина оно представлялось мне вполне убедительным. Однако чуть позже мое боковое зрение вновь поймало быстрый взгляд нацеленных в меня черных зрачков. И я честно призналась себе: если такое объяснение неприязни Олега ко мне и верно, оно отражает лишь озерную рябь, бегущую от налетевшего ветра, а совсем не то постоянное течение, что холодит темную глубину. А хотелось бы «дойти до самой сути»... Мне вспоминались слова моей бабушки, записанные в синий блокнот: *«Люди не понимают символики жизни, сетуют на несправедливость, что срок жизни человека определен максимум веком (чело – век), а дерево, к примеру, тисс, способно прожить и 4000 лет. А ведь суть в том, что человек только воображает себя отдельным существом, будучи лишь частью своего рода, срок жизни которого так же долог, как жизнь деревьев, именно потому род и называется древом, чья ветвь – семья, чей листок – человек»*.

 – А если листок оторвался от ветки родимой?

Родовое древо отца моей бабушки Ю, не ответившей из небытия на вопрос о *листке*, взросло от мальчишки-сироты, о котором поведал толмачу Ипату Актамакову маленький сутулый священник отец Никифор. И, едва я снова, теперь еще более внимательно, стала изучать сохранившиеся исторические свидетельства, выяснилось: именно с линией отца Иоанна на протяжении долгих-долгих лет переплеталась линия предков Олега: их главным делом тоже было миссионерское священничество, весь XVIII и весь XIX век они крестили представителей коренных сибирских народов, а также окормляли новокрещенов и живущих на Обско-Енисейском Севере русских. И, конечно, они учили грамоте остяков (ханты), вогулов (манси) и самоедов (ненцы) и лечили их, ведь лекарей в том краю до второй половины XIX века, можно сказать, не было, потому вся надежда болящих была на шаманов да на священников...

Ни о какой связи двух родов Олегу пока я не говорила, но теперь уже не только чувствовала, но была почти уверена: его непонятная нелюбовь ко мне действительно существовала задолго до его рождения и до моего появления на свет, скорее всего, переданная ему, как голубой цвет глаз, – по наследству. Оставалось или понять: кем, когда и почему неприязнь была вложена в его генетическую программу, или... Или признать эту гипотезу собственным вымыслом.

**\* \* \***

Заманчивее всего было посчитать причиной давнего негативного чувства зафиксированные документами три конфликта (это уже
XIX век): один – между священником, носившим ту же фамилию, что
и Олег, и диаконом-учителем миссионерской школы, потомком отца Никифора. Фамилии я называть не стану, обозначив один род как В (предки Олега) и второй как С (мои) – потомки живы, а я поняла: чтобы любить предков, желательно как можно меньше общаться с их ныне здравствующими потомками, живущими только здесь и сейчас. Другая распря, вызвавшая печальное осуждение проверяющего церковные дела, обнаружилась между священником С и его дьячком В. И третий случай –
скорее даже не конфликт или ссора, а всего лишь сохранившееся на письме выражение уже имевшихся не очень добрых отношений благочинных Тобольской епархии В и С, несомненно, хорошо знакомых. Начну с него. Вот рапорт благочинного В. Епархиальному начальству:

 *«Я просил своим отношением с приложением копии с указа консистории о выборе депутата на общеепархиальный съезд и список священнослужителей церквей г. Тобольска благочинного С собрать ближайшие к нему причты, где он сочтет удобным, а от отдаленных, которые не могут по причине отдаленности быть лично на съезде, отобрать письменные заявления о том, кого они желают иметь депутатом, и на избранное лицо составить акт, утвердить его подписями, так как там большинство голосов, и послать ко мне для подписи остальных четырех причтов моего десятка, однако, и мое трехкратное напоминание благочинному С результата не возымело, предписание Ваше осталось без исполнения, а мое трехкратное напоминание без ответа».*

Понятно, что выполнить предписание в условиях огромных расстояний и разбросанности остяцко-вогульских юрт и самоедских чумов было неимоверно сложно, но ведь благочинный С нередко сам ездил по улусам, о чем сообщал в отчетах: *«В дороге находились более суток, несмотря на то, что делали только один отдых среди болота, чтобы накормить оленей, и в юрту прибыли ночью на 21 декабря. Я велел приготовить в более чистой половине юрты место, чтобы совершить таинство крещения над 6-ти месячным младенцем…»*

Равнодушное игнорирование благочинным С трех писем благочинного В не могло не вызвать у последнего закономерной, возможно, сильнейшей обиды. Как отражается на потомках обида их предков? Если тяжелый стресс матери может привести к экспрессии генов ее будущего ребенка, что уже доказано, нет никаких препятствий к предположению, что и застрявшая в душе обида или ссора, вызвавшая мощный эмоциональный всплеск, способны отразиться на рисунке судьбы потомков.

**\* \* \***

Более похоже на межцерковную ссору, разгоревшуюся по неясной причине, не сохраненной документами, но, судя по ним же, долго тлевшую, эпизод, обнаруженный мной на другом витке общей истории С и В.

Действующие лица: *священник С, который после Тобольской духовной семинарии: «Хорошо знает Пространный катехизис, читает, пишет и поет хорошо. Поведения очень хорошего».*

(Все С играли на многих музыкальных инструментах и пели. Видимо, так силен был завезенный в начале XVIII века из Киева певческий ген!)

*«Псаломщик В по окончании высшего отделения Тобольского духовного училища по прошению отца определен на место псаломщика...»*

Вот небольшой отрывок из совместного подробного рапорта С и В церковному начальству:

*«...остяки обучались псаломщиком в храме кратким молитвам, но за совершенным непониманием инородцами русского языка не преуспели в этом. А потому священником было решено вести дело на родном языке остяков, и результат оказался много действеннее. Остяки ныне учатся с желанием и без ропота. В селе для детей остяцких открыта школа, они приучаются к церковному пению на клиросе под руководством их учительницы. Как приятно лицезреть родителям, когда их малютки участвуют в отправлении общественного богослужения. Общее пение в церкви за малочисленностью русского населения редко, но за Акафистом ученицы и ученики школы поют: “Богородице прилежно”, “Достойно есть”, “Вбранной воеводе”, “Радуйся невесто”, “Аллилуйя”».*

Еще – из того же рапорта: *«О беличьих шкурах, что приносились в церковь в былое время, и говорить не стоит. Ныне остяк если и приносит беличью шкуру, то единственно для того, чтобы в церкви встретить купца и сбыть ему товар с выгодою для себя, а вовсе не принести пользу церкви, – а научили остяков этому въезжающие торговцы. Искренно желательно, наконец, чтобы отношения к остякам сознавались торгово-промышленниками не в духе безжалостной эксплуатации, а виделись в нравственном убеждении христианского достоинства человека. А мы наблюдаем упадок нравственности остяков; сожительство в родстве, жизнь безбрачная, женитьба на малолетних девочках, непочтение к старым родителям – явления между ними обыкновенные.*

*Священник С Псаломщик В»*

Казалось бы, полное единодушие. Однако через несколько месяцев все меняется, и уже один В пишет Тобольскому епископу о своем бедственном положении: *«имея семерых детей и скудное содержание, лишен я возможности получить в кредит хлеб и от инородной управы, и от русских торговцев, дети мои младшие по семейной бедности не имеют возможности обучения, а священник С обижает и несправедливо корит меня, что я к ведению церковных документов отношусь якобы небрежно по малоспособности и лености своей...»*

Вскоре с проверкой церковь посещает благочинный. И вот какой вывод делает он: *«указы, росписи и метрики, опись церковного имущества и памятная книга, приходо-расходные книги ведутся под началом священника С исправно, росписи за прежние годы значатся с 1857 г. Утварь, ризница, библиотека в отличном порядке. Дела архивные за прежние годы по настоящий содержатся надлежащим образом, приходо-расходные книги ведутся своевременно и отчетливо, наличные суммы, значащиеся по книгам, хотя и незначительные, состоят налицо, во всех прочих отношениях нашел я в состоянии похвальном: порядок, опрятность и исправность.*

*Но крайне враждебные отношения между священником С и его помощником псаломщиком В омрачили сердце мое, известный мне из Прошения псаломщика В отзыв о нем священника С не совсем справедлив: не леностью и малоспособностью, а исключительно болезненностью, нищетой и обремененностью детьми объясняются отмеченные С недостатки В, он вдов, бедственное положение его таково, что у него недостает средств на обучение своих младших детей».*

 Благочинный дает указание *«выдать В. немного денег из церковных сумм в счет будущего жалованья, поскольку содержание от казны по отдаленности прихода от окружного казначейства и неудобства путей сообщения всегда поступает несвоевременно и причт не может за неимением средств запастись хлебной мукой, продаваемой с пароходов».*

История не сохранила свидетельств, стремился ли законопослушный С, любящий во всем порядок и отчетность, хоть как-то своему подчиненному помочь. То, что он не сострадал ближнему, мне очень не понравилось, ведь сама я принадлежу к людям, импульсивно покупающим у замерзших уличных старушек совершенно ненужную мне ерунду. Потому обвешанный семью детьми В вызвал у меня сочувствие.

Вечером мне снова позвонил Олег.

**\* \* \***

Надо сказать, что чувствовать некую общую историю с тем человеком, с которым меня сводила судьба, я начала довольно давно.
И школьная нелюбовь Олега, показавшаяся мне однажды совершенно от него отдельной, существовавшей еще до моего и до его рождения, была лишь первой ласточкой интереса к угадыванию теней прошлого, чего я, конечно, не понимала тогда. Теней, не только подспудно определяющих для меня отношения, но порой угрожающих повторением опасных ситуаций или, наоборот, помогающих мне в критических обстоятельствах. В иудаизме считается, что вновь рожденный – реинкарнация одного из ушедших родственников, так же думали и сибирские язычники – казалось бы, весьма убедительное объяснение повторяющихся семейно-родовых травм или одинаково счастливых поворотов в судьбах близких родственников, но православие не признает такую возможность или мягко избегает касаться слишком тонкого вопроса...

Связи далекого прошлого, о которых до последнего времени я ничего не знала, нередко определяли ландшафт моей жизни, а иногда буквально, не гипотетически, спасали меня. Расскажу лишь об одном случае. Обращающаяся к врачам только при самых крайних обстоятельствах, я могла бы потерять зрение, если бы резкая боль и невозможность разглядеть четко даже близкие предметы, не заставили меня все-таки вскочить с дивана и побежать в обычную поликлинику к окулисту. Была пятница, прием заканчивался, и медсестра, выйдя, предупредила, что врач скоро уходит. Я оказалась последней, кого офтальмолог все-таки решила принять. И, когда я вошла, пожилая докторша, спросив мою фамилию, воскликнула: «Ба! Так это же внучка Ю!» Назавтра меня смотрела ее подруга Т, старейший преподаватель медвуза, в молодости первая его красавица, а главное, один из лучших в городе окулистов. Ее мама, известный советский этнограф, в юности, в двадцатые годы, была сердечной подругой самой старшей сестры моей бабушки Ю, а после, несмотря на приличную разницу в возрасте, и ее близкой приятельницей: в годы моего детства они не пропускали ни одной театральной премьеры, обмениваясь в фойе легкими приветствиями, правда, весьма прохладными, с еще одной интеллигентной старушкой из прошлого, выпускницей петербургской гимназии и Бестужевских курсов, моей бабушкой по отцу, годившейся мне по возрасту в прабабушки. Зрение мне очень быстро спасли.

Более чем полувековая дружеская связь, вполне прослеживаемая, скрывала за собой не известные ни Т, ни моей бабушке Ю (за несколько месяцев до моей встречи с Т ушедшей) тени прошлых отношений, караваном плывущие из Тобольска, где в первые годы XX века девочка Наташа, одна из дочерей мелкого городского чиновника и преподавательницы, отпавшей от священнического рода С, училась в Тобольской Мариинской девичьей школе вместе с девочкой Леной, дочерью врача З , родители которого, в 60-х годах XIX века попали в Сибирь, оторвавшись от старинного белорусского местечка и пересадив в новую почву бережно сохраненный во время долгого пути живой побег, выросший на морщинистых корнях еврейского древа. Окончив Казанский университет, З вернулся в Тобольск, женился на русской девушке, в гены которой вплеталась тонкая вогульская нить, и стал лекарем, любимым остяками, зырянами и русскими жителями Березова и Обдорска, дружески сблизившись с настоятелем Обдорской духовной миссии отцом Иринархом (И.С. Шемановским), привлекшим его и приятельствовавшего с З югорского священника С, вылеченного им от плеврита, к сотрудничеству с Тобольским губернским музеем: наиболее культурные люди давно стали понимать необходимость сохранения этнографических артефактов...

*«Любое родовое древо тоже не вечно, –* писала бабушка Ю в синем блокноте, *– истратив всю свою энергию, передававшуюся из поколения в поколение, подчиняясь удивительной игре наследования и питаясь новыми соками, оно все-таки уступает место другому, чей побег взойдет из его корней, вобрав в себя смысл существования, родовую задачу древа, обреченного стать прахом. Когда множество поколений, каждое на новом витке, задачу выполнит, побеги более не будут нужны, да и не останется на них у дерева сил, оно засохнет, если и выбросив из корней случайный росток, то чахлый и нежизнеспособный. Так после смерти великого режиссера, завершившего свою миссию в искусстве, перестает существовать и его театр».*

Дочь З, Елена, после Мариинской Тобольской школы училась в Санкт-Петербурге на естественно-научных курсах Лохвицкой-Скалон, сменила сразу после революции отчество, образовав его от имени деда по матери, стала этнографом и вышла замуж за сына вологодского священника из дворян, интеллигента-зоолога О, в тридцатые годы отправленного в лагерь особого назначения на Соловки и расстрелянного в Ленинграде, на следующий день после о. Павла Флоренского, 8 декабря 1937 года, вместе с другими заключенными Соловков, одним из которых был талантливый художник, первая любовь восемнадцатилетней Ю, моей бабушки...

**\* \* \***

– Я нашел записи деда и зачем-то сканировал, – сказал Олег. – Ничего личного. Типа какой-то сказки. Не знаю, что с тетрадкой делать. Может быть, ты прочитаешь?

– Шли.

После продиктованного мной электронного адреса последовала долгая пауза: две половины моста со скрипом двинулись навстречу друг другу. За окном кудрявились облака. Внезапно вспорхнувшая мысль о том, что Олег попытался вызвать у меня интерес к себе записками деда, судя по всему, совершенно ему безразличными, уже почти настроила меня на готовность поскорее забыть про многолетнюю его неприязнь и даже намекнула на приятное предощущение возможной моей к нему симпатии.

Я смотрела в окно. Смартфон, похоже, нужно было срочно менять: он стал нагреваться и, как живой, грел сейчас мою ладонь. Наконец, две половины моста соединились – и он оказался не мостом влюбленных (о, эта вечная женская глупость, выдувающая мыльные пузыри самоиллюзий), а вполне практическим устройством для перевозки грузов и пассажиров.

– Я хотел бы записки опубликовать в историческом журнале, видел в нем твои статьи. Только фамилия моего деда должна стоять обязательно.

Так вот зачем он мне позвонил, встретив с художником Б, ему не я была нужна, а моя предполагаемая возможность помочь с изданием записок деда! Настала эпоха, когда получившие материальное возжаждали духовного, в своей передельной точке – бессмертия, уверенные, что к экзистенциальной проблеме своего запечатления в веках нужно подойти столь же прагматически, как к оптовым поставкам предметов их бизнеса. И Олег, общаясь со мной ради сугубо деловой цели, пре-
одолевал давнюю ненависть, оттого я и ощущала, общаясь с ним, сильнейшее напряжение. По идее правильнее было бы ему отказать, но мое любопытство к историческим свидетельствам, тем более имеющим отношение, пусть и скользящее по касательной, ко мне самой, оказалось сильнее разочарования.

– Не думала, что ты читаешь исторические журналы, – сказала я. – Хорошо, я посмотрю.

**\* \* \***

Неприязнь В и С достигает апогея, когда представители двух родов, священник В и диакон С в конце 70-х годов XIX века опять оказываются связанными общей миссионерской деятельностью.

*«Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь Отец, –* пишет диакон С, *– письмо Настоятеля В, набросив темную и несправедливую на меня личину возмутительных обвинений, возбудило много толков, не пощадив не только меня, но и выказав истинное лицо самого автора письма, на нелепое содержание которого отвечать не согласно с пастырской совестью, ибо письмо основано на вражде и клевете, питаемо властолюбием и самолюбием в буквальном понимании этих слов, а не на высоком Значении имени миссионера – Пастыря миролюбия и любви. Не этот донос, иначе я назвать письмо не могу, собственно, заставил меня осмелиться взяться за перо, а необходимость во имя пастырской Чести указать на причину враждебных отношений О.Настоятеля ко мне, к человеку, которого он ненавидит, ищет только одного, чтобы вывести меня из штата церкви; ибо людей с прямым характером не терпит и от обязанности быть верным справедливому слову уклонился ко лжи. Скорбь, которую я испытываю от его доноса, в тридцать лет сделала меня седым...»*

Далее С, как говорится, «переходит на личности», видимо, решая действовать теми же средствами, что и настоятель В (письмо которого найти мне не удалось), чем несколько портит впечатление от патетико-драматической увертюры: *«Будучи приглашенным стать членом общества содействия Русскому Торговому Мореходству, я принимал у себя дома представителя немецкой экспедиции и от него узнал, что Священная Купель нашей Православной церкви, в которую новокрещен погружается для обновления в жизнь новую, сделалась серною ванною: для облегчения ревматизма суставов старшего брата О Настоятеля, для которого если не дороги Священные вещи церкви, то могут ли быть дороги меньшие служители ея? В нашей Святой Православной Кафолической церкви от начала ея существования едва ли был подобного рода хотя один пример, чтобы Священная Купель была медицинскою ванною; не дай Бог, чтобы этот пример стал пищею Западных газет, и дай Бог, чтобы он не послужил нареканием для нашей святой церкви и служителей алтаря.*

*Справедливости ради скажу, что народ местный благоговейно преклоняется перед О.Настоятелем, самоеды и остяки идут к нему как к ростовщику с оленьими шкурами, малицами, рукавицами, пимами, женскими капорами, халатами, одеялами и всякой всячиной, дабы получить под залог той или другой вещи несколько рублей»*. (Похоже, диакон С, даже в состоянии сильнейшего волнения, сказавшемся на путаном стиле письма, мной немного выровненного, был не чужд иронии.)

*«Миссионерские школы имеют важное значение в деле христианского образования инородческих детей. За преподавание объявлены мне от Тобольских губернаторов официальные благодарности в 1866 и 1876 гг. Все мальчики-остяки и самоеды никогда не обманывались в наружности своего учителя: один Диакон по всем предметам в учебное время еже-
дневно занимается и трудится в школе и усерднейше, почти постоянно, просит О.Настоятеля обратить внимание на бедственное состояние школы, распределить школу на два отделения, приготовительное и последовательное, выдворить прислугу О. Настоятеля в ближайшую комнату, ни кем не занимаемую, а получал всегда он в ответ одно: “ты мне надоедаешь со своей школой” и к себе всегдашнюю ненависть.*

*Путешествие, в летние месяцы прошлого года Отца Настоятеля наводит на мысль сомнения, в отчете говорится: предпринимал поездку по течению реки Оби и проехал до 700 верст, тогда как он далеко не доезжал – 400 верст можно отнести к путешествию пера»* (Ирония диакона С переходит в тонкий сарказм.)

*Не могу не сообщить, что между прочим местными новостями есть одна возмутительно выдающаяся, неблаговидные толки о которой ведутся повсеместно. Отец Настоятель обращает свой кабинет в уединенное место очарования, запершись в нем с одной остяцкой девицей Стешей, угощая ее сладостями и ведя ласковые речи. Нередко до наступления ночи она проводит время в его кабинете, а прислуживавшая Отцу настоятелю монахиня не единожды случайно видела эту деву, будто бы сидящую у Отца Настоятеля на коленях, о чем сообщила не только мне, но и пастве.*

*Поверяю все изложенное, на всемилостивейшее благоусмотрение Вашего Преосвященства, Всемилостивейшего Архипастыря и Отца, всенижайший послушник: Действительный член, Православного Миссионерского Общества, Дьякон С»*

Что касается прислуживающей монахини, углядевшей на коленях у настоятеля деву, думаю, куртуазная сцена, скорее всего, ей только пригрезилась. Священник В мог ей нравиться, и, хотя она, несомненно, боролась с искушением, кривая тень загнанной в подсознание страсти могла упасть и на ее источник.

**\* \* \***

Настоятель В писал в оправдательном письме: *«в комнате, которая названа кабинетом, двери притворяются от холоду; нет никаких запоров, кроме замка, который замыкаю только, когда ухожу, нет никаких крючков или задвижек. Всякий приходящий входит без докладу свободно. Доносчик пишет, что монахиня видела, как девушка сидела у меня на коленях, здесь явное противоречие, если двери всегда были взаперти из-за холоду. Окна высоко на втором этаже, подсмотреть нельзя. Припоминаю, что иногда мои обращения с девушкой по духовной нужде были очень близкие, и в таком случае при входящей в комнату монахине, девушка могла торопливо отпрянуть от меня: что и могло быть истолковано свидетельницей неверно. Девушка заслужила в семействе моего брата настолько хорошее отношение, что ей дозволяли обедать с ними вместе. Ровно и я, если у меня остался чай и лакомства, почему сироту не попотчевать? Я выспрашивал ее о замужестве, о том, есть ли у нее приданое, думая помочь. И, конечно, выспрашивал, хорошо ли знает она молитвы. Автор доноса представляет, что если священник остался наедине с девицей, то это обязательно какие-то очарования, вероятно, по себе заключал. Если были толки, то оные происходили не от монахини, а от самого дьякона.
А местные отношение ко мне имеют такое, какое и имели».*

Действительно, история с купелью вряд ли бы вызвала в то время особое возмущения даже русских верующих: что было делать страдающему жестокими ревматическими болями, когда лишь она одна позволяла погрузить в нее больное обширное тело полностью, а другие емкости, используемые для поддержания чистоты, были родному брату настоятеля малы? (Судя по Олегу, все В были очень крупные – определяет рост и строение мужчины обычно Y-хромосома.) Да и церковной купелью пользовались не столь часто, много чаще, ради того, чтобы крестить родившегося ребенка, миссионеры сами отправлялись в юрты, нередко – зимой в сорокаградусный мороз, летом оленеводы кочевали, а ехать надо было далеко. Настоятель пожалел брата, поставив обычное сострадание выше священного предмета. Как его за это осудить?

Игумен Иринарх (И.С. Шемановский), честнейший, бескорыстный человек, на свои средства начавший собирать первую библиотеку в Обдорске, упоминал добрым словом в своих записках и обвиняемого диаконом С настоятеля, и еще одного представителя рода В: *«Священник В*, – отмечал игумен, – *горячо любимый и уважаемый за кротость и чисто пастырскую доброту своими прихожанами...»* Этот батюшка прослужил в одном селе сорок лет. Сын его, тоже священник, в 20-е годы прошлого века арестован, подвергнут пыткам, погиб.

Православный ревизор духовной консистории о другом пастыре из рода В сообщал: *«Священник здешней церкви, по отзыву остяков, кроткий и безукоризненный, за что и снискал расположение своих прихожан, которые, однако, пользуясь его добротою, неоднократно вводили его в обман при браках, за неправильные действия по которым он подвергался законному взысканию»*.

Возможно, и настоятель В так же ласково обращался с девушкой-остячкой Стешей. И не был ростовщиком, а просто любил пастуемых: давал им в долг не свои, а церковные деньги под залог вещей, в крещении и образовании остяков и самоедов не сильно упорствовал, пуская, так сказать, дело на самотек, чем, наверное, привлек в церковь больше людей, чем особо в крещении усердствующие. Осталось неизвестным, в чем обвинял он диакона С в своем письме, на которое тот, сильно обидевшись, ответил. Но ведь, с другой стороны, искренняя *филофеева* вера диакона С могла быть действительно оскорблена использованием священной для него купели в качестве серной ванны, и он, судя по его наградам и озабоченности школьными делами, совсем не на словах радел за образование детей юрт и чумов, и нравственные нормы не являлись для него только бумажными предписаниями.

На судьбе В письмо С никак не сказалось, а дьякон С через год был рукоположен в священники, из чего можно сделать вывод, что церковное начальство умно решило: оба навета – несправедливы и явились следствием исключительно взаимной неприязни.

*«Мы узнали о горестном явлении – ссорах миссионеров между собою,* –
писал тот же игумен Иринарх, – *они объясняются условиями жизни в одном из самых глухих местечек необъятного нашего Отечества...»*

**\* \* \***

Дня через три Олег опять позвонил и поинтересовался, понятен ли мне почерк его деда. Я только что закончила читать про угощаемую лакомствами Стешу, вспоминая далекий Тобольск и дочку отца Никифора, и опять удивляясь, с какой изощренной изобретательностью создается судьбой причудливый узор даже малого клочка истории: повторяющиеся имена и фамилии часто вплетены в одинаковые отношения и оказываются на одних и тех же витках социальной спирали.
В зеркальном повторении через полтора века девичьего имени, запечатленного в моих генах тревогой отца Иоанна, воображение, жаждущее подтверждения *неслучайности* жизни, угадало одно из доказательств, погасив рациональное сомнение, лишающее несиюминутного смысла каждую отдельную жизнь.

– Еше не успела посмотреть, извини, – сказала я. – Завтра начну разбирать. Все эти дни читала тобольские епархиальные документы... Там много о твоих предках: они были священниками-миссионерами и священнослужителями, и даже благочинными. Местных жителей крестили, конечно, детей их учили, ты верно говорил. Между прочим, мои тоже по линии отца моей бабушки тем же занимались, в одних храмах с твоими служили, так что мы с тобой знакомы не первый век...

На последнюю часть моей фразы он никак не отреагировал, видимо, восприняв ее как ничего не значащую, не очень удачную шутку. И, помолчав (я уже привыкла, что разводной мост очень медленный), спросил:

– Благочинные – это кто такие? Тоже колонизаторы?

– Церковное начальство: контролировали церкви своей епархии. Только почему ты назвал священников колонизаторами?

– Так пишут на сайтах, – ответил он.

Действительно, я находила в Интернете немало постов и комментариев, выказывающих ненависть к православным миссионерам неоязычников, возвращающих свои капища и совершенно забывших, что именно русское духовенство учило их предков грамоте. Священники переводили не только Священное Писание, но составляли самодельные буквари и разговорники для детишек (первый печатный остяцкий букварь – заслуга обдорского миссионера Егорова), помогали в воспитании, защищали от корысти местных дельцов, а порой и несправедливого суда, с готовностью за взятку отправлявшего на каторгу вместо преступника ничего не способного объяснить невиновного остяка, приучали к элементарной гигиене ради сохранения здоровья, изучали быт и культуру коренных народов, северную природу, вели учет смертей,
браков и рождений... Исследователи Сибири середины XIX века замечали, что сибирское духовенство было образованнее духовенства европейских губерний, священники и диаконы отличались обширными познаниями и состояли в высшем кругу сибирского общества. Однако относилась эта характеристика, конечно, далеко не ко всем: немало было и малообразованных, но сердечно искренних служителей веры, среди них встречались новокрещены, были и священники, наоборот, напрочь лишенные *филофеева* горения, от служения бежавшие, ведь миссионеры обязывались проводить долгое время в разъездах по тундре, месяцами жить вдвоем (священник и причетник) у самого Обского края... Далеко не все выдерживали наводимого тундрой морока, нескончаемых жестоких морозов, а часто и спешащей за ними по снегу и чахлой траве обычной нужды. Бывало, совершив одну поездку с походной церковью, священник отказывался от невыносимо тяжелого для него заказа, сославшись на слабое здоровье. Не выдержал суровых испытаний на реке Таз даже диакон – по национальности самоед...

Неужели подвиг православных миссионеров, рисковавших жизнью, отправляясь с крестом в руке в самые дальние и дикие места, был напрасен? Неужели наши с Олегом предки, жившие тяжело, бывшие обычными людьми, страдавшими порой от вражды и бедности, но упорно верящие в свою высокую миссию, служили химерам? И нелегкий их каждодневный труд сейчас забывчиво стирают одним нажатием пальца – delete, смахивая со своего стола, как засохшие крошки, их самих?

Все они в тревоге вопрошают из небытия – *мы были или не было нас?*

**\* \* \***

В тетради оказалась переписанная от руки поэма «Сказание о Тонье». Девушку из рода Тусым-ики, «бородатых людей», живущих на реке Пим, полюбил младший сын Верховного бога – Нум-Торума, небесный царь рода Орла. Он стал отцом ее сына-богатыря Тоньи.

Тонья! Он – потомок рода Орла,

Царя всех птиц,

Проживал на Югане много веков

этот род и счастливо жил.

Люди рождались, олени кормили их.

Но Кучум поживиться решил.

Нойоны Кучума напали на них,

Тусым-ики, великий старик,

Нойонов всех победил.

И чудом спасенный,

Народ болотный он спас.

Всю силу и мудрость рода Орла

Тонье он передал.

Вскоре пришли казаки – сборщики ясака.

Тонья встал и с ними сразился

Страха Тонья не знал.

Выпущенная из его лука стрела

столетнюю лиственницу пробивала насквозь.

Казачьи стрелы обратно летели,

как птицы, от взмаха его руки.

И когда Тонью хотели убить,

никто не смог Тонью догнать.

Тонья бегал так быстро, что настигал оленя.

Он скрылся среди болот.

Ханты с тех пор называют себя нерым-ях,

болотный народ.

Их великий князь,

Князь болотных людей

Тонья.

После стихотворной части следовал ее гораздо более обстоятельный прозаически пересказ с дополнениями, касавшимися версии смерти Тоньи – его погубила родня Тусым-ики со стороны жены: Тонья мостил головами убитых им казаков дорогу, но двух голов не хватило, и он положил – собачьи, что, родня, видимо, посчитала осквернением подвига. На православный крест, поставленный на месте крещения у реки Таз, самоеды вешали мертвых псов. Диакон-то ненец (самоед) сбежал оттуда недаром... Писал дед Олега и о том, что главный бог крещеных ненцев и хантов, Нум-Торум, слился с Николаем Угодником, к нему они обращаются, прося помощи, и, чтобы задобрить, мажут его рот на иконе кровью оленя.

Представьте мое удивление, когда в конце текста обнаружилось разъяснение, что есть свидетельство о первом варианте сказания, сохраненном в начале XIX века священником С, но этот экземпляр не найден, поскольку, как писал много позднее учитель А. Силин, переложивший легенду о Тонье, записанную им в 1934 году со слов Семена Покачева из поселка Угут, «повествование являлось сакральным, а потому тщательно скрывалось от чужаков» и могло быть уничтоженным. Этот вариант, самый короткий, – слышал В (то есть дед Олега) в детстве от своего деда – диакона Обдорской миссии, которую как раз в то время возглавлял иеромонах Иринарх (Яхонтов), вызволенный Тобольским митрополитом с Соловков. Дед Олега иеромонаха Иринарха только упоминает, не касаясь его биографии, теперь известной. Будущий начальник миссии был сослан на исправление в Соловецкий монастырь как участник протестной акции студентов Казанской духовной академии: 8 апреля 1861 года студенты совершили панихиду по крестьянам села Казанской губернии Бездна. Расстрел безоружных крестьян, а также их вождя Антона Петрова, ошибочно решившего и убедившего всех, что с 1858 года земля уже принадлежала крестьянам, вызвал массовые протесты студентов Казанского университета, Казанской духовной академии и большей части интеллигенции. Увы, местное дворянство, грустно замечают историки, мстительно ликовало...

В интернете я нашла историю легенды о Тонье в краеведческом альманахе «Подорожник», материалы которого сослужили мне добрую служебку, приоткрыв многие страницы истории *«самых глухих местечек
необъятного нашего Отечества»*, нашла и романтизирующую образ Тоньи сказку известной нижневартовской писательницы М. Анисимковой.

Олег с желанием публикации записок деда опоздал.

**\* \* \***

...Помните, в старой французской комедии восприятие здорового реалистичного сыщика по имени Кампана в процессе тесного общения с эксцентричным шизоидом Перреном начинает съезжать в сторону
символического прочтения мелких бытовых фактов: когда у сыщика развязывается шнурок, он, побледнев, произносит: «Это знак». Так и Олег после еще двух совместных поездок в лесопарк, столь же лишенных гендерного флера, что и первая, но чуть менее напряженных, выслушав все мои рассказы о его и о моих прародителях, на забавное совпадение альковного сюжета и даже имени двух девиц, разделенных расстоянием в сто пятьдесят лет, внезапно, тоже побледнев (!), сказал: «И та и другая Стеша? Это что-то неслучайное».

Мы долго молча шли по центральной дороге лесопарка, и, как в любой золотой осенний день, душа в очередной раз удивлялась красоте мира, уже не существующей отдельно от Бунина и Фета, Саврасова и Левитана...

– Ты любишь стихи? – спросила я.

Крылья моста не сходились очень долго.

– Нет.

– А что ты любишь?

Странно, но он ответил сразу:

– Ничего и никого.

– Совсем ничего и никого?

Мы уже подошли к машине. И на обратном пути я вернулась к разговору о священниках-миссионерах, которые, как предписывалось, должны были *выказывать личным нравственным примером качества отца-проповедника: молитвенность, смирение, бескорыстие, стойкость, готовность преодолевать трудности в условиях чрезвычайной сложности, терпение, приветливость, смиренную преданность Богу*. Память у меня хорошая, и я цитировала почти дословно недавно прочитанную статью. Я уже *видела и любила их*, упорно разгружающих ящики с походной церковью в сумрачной тундре, вздрагивающих по вечерам от внезапного стука в дверь молельного дома, недавно построенного невдалеке от чумов, от бряцанья железной утвари, прикрепленной на окно, дабы сразу услыхать, что кто-то пытается проникнуть в дом. И, несмотря на ощущение постоянной угрозы, все равно открывающих дверь любому, кто пришел, ибо таков пастырский долг. Но Олега мои слова, похоже, не задели вовсе, наверное, он решил, что монолог мой несколько пафосный, а главное, все, о чем я говорила, очень от него далеко. Это уже *не существующее прошлое*.

Он вел машину и молчал. И думал о чем-то своем. И только когда BMW притормозила у моего подъезда, вдруг обернулся ко мне, держа мощные руки на руле, и лицо его просияло счастливой растерянной улыбкой, точно он, чуть не затонув, не совсем понимает, какая сила помогла ему вынырнуть из холодной воды:

– Вспомнил. Очень сильно я в детстве морскую свинку любил.
А теперь люблю свой смартфон. Как друга.

**\* \* \***

Догадаться было несложно: Олега бросила жена. Признался в семейном разладе, конечно, не он сам. Стоило проснуться моему интересу к его личной жизни, судьба сама приоткрыла мне искомую страницу –
на улице, возле супермаркета, я случайно встретилась с еще одной бывшей одноклассницей, которую не видела много лет, хотя находила ее аватарку среди активно виртуально общающихся. Она-то все об Олеге и рассказала, предварив рассказ замечанием, что история Олега похожа на подаренную плетеную корзинку, потом дарителем и украденную уже вместе с содержимым: сейчас в соцсетях модно использовать подобные метафоры и сравнения. Оказывается, Олег был женат на Алине, родной сестре нашего одноклассника Мишки Левенсона, двоюродного брата Инки, прозванной юными мерзавцами Сарделькой, и Левенсон, уехав к родителям-врачам в Израиль, перетянул туда и жену Олега с двухлетним малышом. Причем познакомил Олега с Алиной сам Мишка. Олега выбросили, как мусор, резюмировала одноклассница, ребенка его усыновил новый муж, на фиг им там среди маслин могучий дуб, Олега жалко, он сильно Алину любил, да и ей не на что было жаловаться: бабла хватало, и с сексуальным аспектом у него без проблем, –
одноклассница усмехнулась: проверка состоялась. Воможно, разрыв молодой семьи был предрешен еще на свадьбе, она была свидетельницей со стороны невесты и слышала, как, уже крепко подвыпив, отец Олега внезапно упомянул «злодея Свердлова», отец Алины, конечно, тоже пьяный, вспомнил про унизительную «черту оседлости», заговорил о страданиях своего народа, стал называть имена убиенных родственников в Холокост и заплакал, глаза отца Олега тоже повлажнели, он заговорил о страданиях своего народа, о замученных и убитых в годы революции и в сталинских лагерях, о жертвах Великой Отечественной войны и стал называть имена своих погибших родственников, отец Алины вспомнил своих дядьев-фронтовиков: оставшегося в 43-м двадцатилетнего сержанта и его брата, девяностолетнего ветерана, в конце концов отцы обнялись и выпили за помин всех жертв и за здравие живущих. Но Алинка этот разговор иногда вспоминала, называя «семейным водоразделом»... А может быть, все проще: она тайно страстно влюбилась и потому ушла от скучного правильного Олега, это в ее репертуаре, – у нее уже в пятнадцать лет был любовник, какой-то безбашенный тренер. Впрочем, у себя дома и здесь старые Левенсоны, что Мишкины, что Инкины, у них родство по ее матери, всегда говорили на идиш, одноклассница бывала у них часто, потому что Инкина и Мишкина бабушка чудно готовила, такого кугеля ни у кого больше не поешь, пальчики оближешь, так что их возвращение к своим древним корням совершенно закономерно...

Ни степень родственной близости моих ровесников, ни их национальные маркеры меня никогда не занимали. И о родстве Левенсона и толстухи Инки, вечно роняющей во время урока деревянный пенал своего деда, я ничего не знала, и сейчас, вспомнив, как стыдила обижающих Инку и Таксу, удивилась: что же Мишка не заступался за нее? Глупо считал, что за родственницу заступаться ниже его достоинства? Лучше спроси, сказала одноклассница, почему за нее не заступались другие теперь не наши: Данька Шапиро, Илья, Женька, ее подруга лучшая, между прочим, а Данька к тому же сам ее дразнил и над ней потешался. Они уехали, ты в курсе? Шапиро в Штатах, публикует там в журналах стихи бедного Таксы, живущего теперь в Нижнем Новгороде, сопровождая своими хвалебными комментами... А Инка осталась. Наверное, ты о ней слышала, если нет, посмотри в инете, она известная в городе персона, недавно ее сам мэр награждал как лучшего преподавателя русской литературы. В новостях писали, что ее дедушка тоже был педагогом. У нее мой сын учился, обожает Инку до сих пор, с каждым праздником поздравляет, представляешь, столько лет прошло, а когда она ведет уроки, на ее столе всегда лежит тот же деревянный пенал!

**\* \* \***

Инкин пенал *отрицал окончательную смерть* ее деда, а наши с Олегом предки все так же тревожно вопрошали из небытия – *мы были или не было нас?*

Я решила поискать в Интернете однофамильцев Олега, очертив приблизительный географический ареал. Священников В было много в позапрошлом веке и в начале прошлого, они упоминались в старых документах, в новых статьях, один, изможденный, смотрел всепрощающими глазами Иисуса с фото, сделанного в застенках НКВД, зайдя в Википедию, я прочитала, что он причислен в святым новомученикам и исповедникам Русской церкви. Значился в этом трагическом списке и священник С. Однако уже в середине ХХ века фамилия В как священническая полностью исчезла. На сайтах, посвященных Великой Победе, упоминались фронтовики В, погибшие и выжившие, на форуме о жертвах сталинизма встретился В, начальник местного ЧК, расстрелянный в 37-м, в сетевом научном журнале писали о В, докторе физико-математических наук, скончавшемся в 80-е... А сейчас я нашла лишь четырех бизнесменов В (не считая Олега) и одного глянцевого фотографа. Один из предпринимателей В за уклонение от налогов был отдан под суд, но «раскаялся и погасил задолженность», отчего судья, скорее всего, раскаявшимся не обделенный, судебное дело закрыл. Неужели *деревянный пенал* предков Олега выброшен на свалку истории, как сам он из биографии его жены и сына?

Священники С были и сейчас. Это порадовало меня: *синий блокнот* мой бабушки Ю не обращен в никому не нужный хлам. В Тобольско-Тюменской епархии служил протоиерей С, в Московской – молодой иерей С, после окончания Тобольской семинарии и духовной академии окормлявший паству в Подмосковье, нашлись и другие, возможно, столь далекие от моих С, что должны уже считаться просто однофамильцами, где-то в туманном прошлом имевшими с моими С общего пращура. Нет, я не сделала поспешного вывода, что сохранение С профессии предков, верность духовному служению, гарантирует им, в отличие от как бы *полностью умерших* предков В, *не окончательную смерть*.

Я чувствовала: то, что я теперь символически представляла как *деревянный пенал* и *синий блокнот* – нечто иное, большее, чем переданное по наследству призвание, даже большее, чем сохраняемая между ручек, карандашей и листов бумаги буква-человечек родового корня. Но – что? Возможно, оно имеет непонятную пока связь с моими эмпатическими «подключениями» к жившим задолго до моего рождения, к моей пространственно-временной памяти?

И судьба опять мне помогла, вовремя перелистнув страницу: мне позвонил тот самый художник Б, с которым нас видел Олег.

**\* \* \***

Звонок был чисто деловой. Да и другого повода для общения со мной я ни от кого не ждала, давно закрыв тему личной жизни, однажды догадавшись, что мое несовпадение с любым из встреченных мной мужчин имело причину не психологическую, а временную: они стремились и умели жить в сегодняшнем дне, полностью вмещаясь в него, точно предмет запакованный ловкой рукой продавца в картонную коробку, и прошлое, оставаясь за пределами ее плотных стенок, отметалось их сознанием как нечто *несуществующее*: мертвые картинки и факты из школьного учебника истории, нагоняющие только скуку, и, конечно, любое упоминание о возможности контакта с теми, кто жил очень давно, показалось бы им странным или предельно глупым. Чтобы счастливо существовать, нужно было уместиться в ту же коробку и там плотно прижаться друг к другу, ведя домашние разговоры о продуктах в холодильнике или обсуждая растущие цены в магазинах, политиков и риски кредитования. Все это меня совершенно не интересовало. Прилепиться и стать как одна плоть ни с одним из них я совершенно не была способна: от любого достаточно близкого их приближения ко мне я начинала задыхаться, точно пробками заткнули все каналы, через которые поступал воздух.

Сетевой журнал «Живопись. Авангард» попросил художника Б об интервью. Он дал согласие, но выдвинул условие: беседовать с ним должна только М, то есть я. До интервью Б решил погулять со мной по городу и обсудить, о чем мы с ним будет говорить. Удобный способ вопросов и ответов, отправленных по электронной почте, он не признавал.

 – Мне понравилась ваша мысль, что модернизм – это сочетание архаичного сознания и современной логики, – сказал Б, когда мы пришли в небольшой церковный парк и присели на скамейку. День был ясный, дождя не ожидалось. – Я с детства ощущал власть над собой древних образов, мне часто снилось какое-то незнакомое и пугающее место, на возвышении, отгороженное частоколом, когда я рассказал сон моей бабушке, она объяснила, что это капище наших предков, место, где приносились убитые олени в жертву нашим богам, с которыми общался только шаман. Кстати, женщин на жертвоприношение не пускали. Часто на этих местах ставили церкви. После революции все остававшиеся капища были уничтожены, обряды запрещены, но, когда бабуля была маленькой, в стороне от села, куда они бегали с ребятишкам, сакральное место еще сохранялось. Иногда, тайно от местной власти, шаман там камлал. Я из рода потомственных шаманов. Помните, я говорил, что по матери – манси? Раньше звали нас вогулами. А дед матери был хант.

– Но разве православие не вытеснило ваши языческие обряды?

– Понимаете, ханты, манси и ненцы, полностью ставшие православными, ассимилировались, стали русскими. Они родились заново как часть совершенно другого этноса, уничтожив своих богов, а значит, и собственных предков, которых вслед за русскими посчитали дикими, потому что они ели сырое оленье мясо и пили оленью кровь, жили в дымных юртах и кланялись деревянным обским истуканам. И, хотя моя бабуля говорила о русских священниках всегда хорошо: они принесли книжки, ведь и письменности у обских угров не было, заботились о бедняках, детишек у них брали в приюты, детей постарше учили, стариков не бросали, немощный отец самой бабули жил в богадельне при церкви, – но даже она, простая женщина, признавала: сохранило материнский род от полного растворения только двоеверие, то есть вера, что, если существует Бог единый для всех, у нас все равно есть свои родные, пусть и подчиненные ему, боги. Потому что чужая вера как бы полностью отвергала прошлое нашего народа, лишала непрерывную борьбу за выживание самого важного смысла, что привносил в обычную жизнь окружающий улусы мир, населенный древними богами
и духами предков, ведь народ жив, пока его предки живы... Лишала *иного* мира.

– Теперь я понимаю, – сказала я, – почему одного из моих далеких миссионеров-прадедов (не знаю даже, в какую степень возвести «пра») ранил стрелой остяцкий шаман.

Внезапно я увидела опасно сузившиеся черные зрачки Б. Это именно они целились в меня! Олег совершенно ни при чем, произошло обычное телепатическое наложение двух одновременно принятых сигналов: давней неприязни В и, конечно, совершенно бессознательного импульса Б!

 – Я сейчас уловила исходящий от вас импульс родовой мести, – наученная неудачным опытом общения скрывать все, что может быть воспринято как непонятное или нелепое, я на всякий случай придала голосу немного шутливый оттенок.

– Вы верно уловили, – сказал он, – я действительно перехватил чувства того шамана. Он был, наверное, из наших мест. Еще при первой встрече я что-то такое, нас с вами связывающее, ощутил. Давнюю вражду наших предков, может быть... – он грустно усмехнулся, – ...которая порой сильнее любви притягивает друг к другу незнакомых людей через сотню лет после смерти тех, кто враждовал. Как вы, наверное, догадались, я не буддист, я верю не в память перевоплощений, а в память предков. Я – язычник. Но совсем не хочу с вами враждовать. – Он улыбнулся.

– По-моему, интервью будет интересным.

– Не сомневаюсь. Обо всем этом и поговорим.

– Давайте перевернем многоугольник. Некоторые русские начинали искать помощи у вашего шамана, то есть тоже опровергали свое прошлое – а искренне верующий священник-миссионер страдал от этого. Да, он служил государственному заказу, верил в необходимость крещения язычников, но это лишь внешние, хотя часто и сердечные, мотивы его деятельности, если посмотреть глубже – когда он крестил инородцев (извините, что употребляю старое слово), он, подобно им, не только сохранял мир своих предков, но тоже спасал *иную* реальность, что окружала его собственнный дом и одухотворяла его сознание... *Лишенные чувства иной реальности, мы просто бумажные человечки*. И, произнеся эту фразу, я поняла, *что* хранила Инка в своем *деревянном пенале*, а моя бабушка в *синем блокноте*.

– Перейдем на «ты»? – предложил он.

**\* \* \***

...Как ни странно, Олег, сказав о совпадении имени двух девушек «это что-то неслучайное», оказался прав; только дверь в прошлое на этот раз открылась с другой стороны. Как говорится, никогда не знаешь, куда заведут ссылки Википедии! Я привычно бродила по сетевым тропам и, попав на малопопулярный, полузаброшенный сайт небольшого сообщества, интересовавшегося прошлым Тобольска, нашла биографическую статью о Филофее Лещинском и назначении его митрополитом на тобольскую кафедру. Все изложенное мне было хорошо знакомо, кроме нескольких дополнительных штрихов, выловленных автором из архива: фамилий священников, монахов и певчих, которых будущий схимонах Феодор привез с собой, и пунктирного обозначения их дальнейших судеб. Среди певчих значились С и В, о них было сказано так: *«в дальнейшем выбрали миссионерское поприще потомки Ивана (Иоанна) С, помогавшего Филофею Лещинскому (схимонаху Феодору) крестить остяков и вогулов и раненного при попытке лодки миссионеров подплыть к одному из улусов; бывшего певчего В, о. Иоакима, находим иереем в Тобольске, его сын Петр также пошел по стопам отца, среди сибирских миссионеров очень много священников В»*. О, Господи, это ведь юный Петр сажал на колени Стешу, внучку отца Иоанна, чья пробитая стрелой насквозь правая ладонь навечно застыла в троеперстии, а ласковое отношение дальнего потомка В к другой Стеше насторожило ревностного диакона С! Не ищет ли сильное чувство, не рассеявшееся в пространстве после того, как сосуд, в котором оно плескалось, распался на осколки, чтобы вскоре стать прахом, нового сосуда для продолжения своего пути до тех пор, пока энергия чувства не иссякнет? Тогда ведь и Олег – всего лишь сосуд для неизжитой ненависти и ревнивой обиды своего давнего-давнего пра. Когда же, наконец, иссякнут на Земле все потоки вражды, исток которых теряется в далеком прошлом?

**\* \* \***

Художник Б позвонил мне и передал отзыв главреда журнала «Жи-
вопись. Авангард»: интервью редактор назвал потрясающе интересным.

– Только попросил тебя задать еще один вопрос: правда ли моей кистью водят порой древние образы родовой памяти? И чтобы я ответил и переслал текст завтра, не позже 14.00.

– Задаю.

– Правда.

– Как-то слишком лаконично.

Он засмеялся.

– Ну я же не литератор, мы, художники, почти немые. Глазами слушаем и говорим. Ты подумай сегодня, как им это все покруче объяснить, хорошо? Напиши, что я умею выходить на контакт со своими предками и они мне передают образы, вот и весь секрет. Вечером я проявлюсь снова.

Написать пару слов на тему юнговских общечеловеческих архетипов, хранящихся в коллективном бессознательном, и национальной их трансформации в работах художника Б я могла сразу. Однако мысли мои отвергли лежащее на поверхности объяснение, и не оттого, что оно отдавало модным штампом, причина была в моем сомнении: океан коллективного бессознательного, несомненно, окружает нас, но именно образы как примеры его влияния не представлялись мне при чтении Юнга убедительными – увиденные во сне символы, мандалы или архетипные персонажи казались мне переданными реципиентам телепатическим путем самим Юнгом – индуктором. Конечно, в любом случае они относились к древним прообразам, но... Мысли мои сначала перешли от Юнга на книгу и текст, который книга содержит. Мне вспомнилось, что одним из замеченных мной удивительных свойств книги была возможность возникновения эмоционального контакта с автором, порой и давно почившим. Стоило мне, читая, почувствовать любовь к писателю – он появлялся и обрадованно располагался рядом со мной, и я легко могла приблизить его лицо: так я способна увидеть облик того человека, который мне вскоре позвонит при условии его неравнодушия ко мне или к теме разговора. И давно ушедшего в мир теней писателя я ощущала, как живого человека, настроенного на разговор со мной. Были среди них и приносившие с собой обиду на непризнанность при жизни, чего совершенно был лишен Платонов (проза которого стала одним из потрясений моей читательской жизни), появившийся с доброй улыбкой. Конечно, выходили из своих книг далеко не все. Некоторые обложки напоминали наглухо запечатанные двери, и это не зависело от авторского таланта или мастерства. Может быть, мое чувство любви к автору, созвучие его мыслям становилось нитью Ариадны и давало возможность ему ненадолго выйти из иного мира? Объяснение для меня несомненно приятное, но если и верное, то лишь на малую часть, потому что были и не откликнувшиеся. Не откликнулся Писемский, хотя его «Тюфяк» я оценила: повесть стоит многого. Создалось у меня впечатление, что Писемскому совершенно безразлична судьба его книг – он больше в них не жил. Возможно, писатель живет («нет, весь я не умру...»), потому что его книги читают? Тогда почему откликаются и совсем забытые? Значит, хотят они этого сами, это *нужно им*. Они тоже вопрошают из небытия: *мы были или не было нас?*

Отвечая за художника Б на вопрос редактора журнала, я порассуждала о разных уровнях реальности, процитировала советского академика (еще раз с восхищением о нем подумав): *«Таким образом, даже если живое существо умирает, излучаемая им информация может “крутиться” в общем информационном поле планеты неограниченно долго, до тех пор, пока не замкнется на организм, который окажется в состоянии не только воспринять, но и обработать ее», –* и завершила ответ предположением, что художник Б и есть такой «организм», воспринимающий и творчески преображающий древнюю информацию... И, конечно, не стала загружать ответ размышлениями о белом пятне в теории общего информационного поля. Теория хорошо объясняла возможность ретроскопии – закон сохранения на любое по протяженности время тех событий, которые, по всей видимости, были связаны с сильнейшим эмоционально-энергетическим всплеском, допускал вероятность их считывания, но, предполагая, никак не объяснял возможность контакта с теми, кто оказался по ту сторону нашей реальности: сохраняющаяся информация это консервация, а любое живое общение предполагает развитие. С другой стороны, может быть, иллюзия развития как раз и возникает только в закрытых границах сохраненной информации?

**\* \* \***

С Олегом встречаться больше не хотелось. И на его предложение прокатиться снова до парка я мгновенно водрузила защитную стену: увы, рада бы, да не могу, нужно писать статью, а для этого прочитать несколько книг. Напряжение от общения с ним стерлось, точно древняя надпись на камне; когда я думала о наших с ним прогулках и они представлялись мне какими-то гранитными, точно осколки обветренной временем скалы, невозможно было вообразить на этих серо-черных обломках живые ростки растений. Впрочем, возникший образ камня мог объясняться и той мемориальной темой, к какой я сама Олега склонила: до нынешней встречи со мной ему не было никакого дела до его предков, тем более что в его родительской семье тема их священничества с советских времен, по-видимому, числилась в запретных.

– А когда сможешь? Завтра вечером? Это и с тобой связано... – Голос его точно смялся, почти пропал, снова распрямился, споткнулся. –
В общем, после наших разговоров... Нет, по телефону объяснить не получится.

Пришлось согласиться.

Оказывается, этого крупноблочного мужчину, абсолютно далекого от всякой мистики, наши беседы, как он выразился, «совершенно выбили из реала». Еще моя бабушка Ю предупреждала об опасной способности смещать, точно крышку от люка, сознание другого человека, открывая щель в пространство, где властвуют иные законы восприятия, рискованные для неподготовленного ума. В *синем блокноте* объясняла она такую способность *«многоколенным служением инобытию»*. Тогда я не думала – так это или не так, но сейчас, глядя на потерянное (по-моему – в прямом, а не метафорическом смысле!) лицо Олега, вспомнила предупреждение бабушки.

Олег трижды увидел совершенно реалистичный сон, чего с ним никогда не случалось прежде: обычно плавали какие-то облачные обрывки, тут же растворяющиеся при пробуждении. Снилось ему, будто в своей комнате, обстановка которой не изменилась, он просыпается оттого, что открывается дверь и входит старик-монах. Нет, страха во сне Олег не испытывал. Старик, отодвинув кресло от компьютерного стола, присаживается, смотрит долгим взглядом на Олега и после длительного молчания произносит: «Иоанну передай, чтобы простил меня». Олег во сне тоже садится на постели и тут же просыпается.

– Стул отодвинут, а я почему-то не лежу, а сижу!

Я сразу поняла: к нему приходил не монах, а отец Иоаким, ненавидевший отца Иоанна как счастливого соперника. Выглядел Олег как человек с несколько измененным сознанием – именно для негибких упертых материалистов даже легкий мистический ветерок порой катастрофически опасен. И я решила, что обязана Олега «заземлить».

– Кресло вечером отодвинул ты сам и забыл. А сидишь на кровати потому, что есть фаза между сном и явью, гипнагогия, в эту фазу ты стал вставать, не полностью пробудившись, а когда проснулся окончательно, предыдущее действие опять же забыл. Так бывает.

– Мне еще дважды этот старик снился. И, когда я пообещал ему во сне: «Передам», на его месте вдруг оказался мой дед, чья тетрадка с записями у тебя. И во сне я одновременно видел и деда, сидящего на стуле, и черного старика, который уходил по коридору, сначала это был просторный коридор нашей квартиры, когда я женился, родители отдали мне свою сталинку, а сами переехали в однокомнатную, потом коридор превратился в какой-то другой, очень длинный, просто бесконечный туннель, фигура стала удаляться. А мой дед сказал: «Люди считают, что память дана людям всего лишь для запоминания, на самом деле только в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти». Первый раз в жизни я запомнил слова из сна! Жесть!

– А если твой дед открыл тебе правду?

– Я ни во что такое не верю, рациональное мышление выше всяческих фантазий и мистики, не стал бы на такие абсурдные темы вообще говорить, тем более что-то из сна передавать, если бы не тягостное ощущение... И тут в аварию едва не попал. Понял: мне эта хрень мешает, нужно освободиться. Да и деда мне было жалко, когда он умер. Возможно, затосковал по нему, оттого и на дороге проявил невнимательность. Мы живем однова, говорит отец. Он ученый, доктор наук, у него и сейчас высокий индекс цитирования. Можно сказать, он мой help desk. И я верю, разумеется, ему, а не идиотическим снам.

 – А почему ты решил, что должен о них рассказать именно мне?

– Потому что ни с кем никогда таких... – он подбирал, как я поняла, менее обидное слово, – ...не нужных мне разговоров не вел. Только с тобой. И ни о каких предках я не думал и думать не собираюсь. Нам бы с современностью разобраться, с собой. А не древние сундуки вскрывать и заниматься рухлядью.

– Ты по-прежнему сильно не любишь меня? – спросила я.

Два крыла моста качнулись и очень медленно двинулись друг другу навстречу. Я вдруг заметила, что листва в парке почти опала, хотя, еще не тронутая дождями, являла все цвета лиственной осенней палитры. Мобильный завибрировал в моем кармане: звонил художник Б. Автоответчик послал ему эсэмээску: «Извините, перезвоню позже».

– Теперь – нет, – сказал Олег, – а все эти годы, если честно, вспоминал тебя и не мог отделаться от неприязни. Что-то мне сильно в тебе не нравилось. До ненависти. Сам не мог понять, почему. А теперь я тебе благодарен. На работе меня считают буржуем, хозяином, не поговоришь по душам. Я был совсем один. Стены квартиры меня грызли, от компа глаза болели. Общение с тобой вернуло мне желание жить. Я даже морскую свинку себе купил. – И он как-то по-детски мило улыбнулся.

Мобильный снова завибрировал. Художник Б прислал эсэмээску, я ее прочитала и, поразившись совпадению со словами, сказанными Олегу во сне его дедом, повторила вслух: *«понял именно в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти».*

– Когда ты успела ему пересказать?!

– Совпадение.

– А... бывает...

Мы расстались у моего подъезда. Он попросил его познакомить с какой-нибудь приятной худенькой брюнеткой. Пусть даже из среды искусства, чтобы красивая, только обычная, без погружений в прошлое и в хардтокинг, в ресторан вместе сходить, в ночной клуб, на море съездить, для релакса в общем, а для серьезного у него бизнес, две головные боли – это слишком... Как ему удается заниматься бизнесом с таким интеллигентным голосом, подумала я, тембр высоковат для его мощного крупного сложения. Наверное, роли распределены: Олег – информационно-технический центр, а орет и материт сотрудников его низколобый заместитель.

– И еще... как его... Иоанн, ты передай ему, что старик попросил... – Олег смущенно хихикнул, – ...в своем воображении, разумеется.

– У меня нет такой приятельницы, – сказала я. – Сам где-нибудь познакомишься, чего тебе и желаю.

**\* \* \***

– Я понимаю слова о ключе так, – говорил мне Б. Мы встретились в кафе «Лабиринт», – внешние функции памяти известны, но память слоиста, под функциональными находятся у нее более глубокие слои, один в другом, как в матрешке, и на самые глубокие (или дальние) некоторые люди могут попадать через пространственно-временные туннели, потому что смерть и жизнь существуют в памяти одновременно, да, ушедшие ушли, здесь их нет, но на глубоком слое памяти они живы. Все, что человек изобретает, существовало до его изобретения как прообраз, и кино, возможно, повторяет то, что есть в наших генах: события из жизни людей, окрашенные сильными эмоциями, записаны в них, действительно, как кинофильм. С интерактивным кино теперь, пусть примитивно, зритель взаимодействует, и с кинопамятью скоро люди смогут взаимодействовать. Убедительно?

– Вполне, – сказала я. – Посмотреть можно. Но происходившее в прошлом нельзя изменить. Можно лишь помочь героям фильма обрести освобождение от вечного круга душевной боли, страха или неведенья... И от мучительного их сомнения *там* в собственном былом существовании *здесь*. То есть завершить сюжет.

– Пока нельзя изменить.

– Знаешь, мне кажется, двигаться по этому пути дальше не надо.

– Боишься Минотавра?

Я не сразу ответила, потому что, внезапно повернувшись, увидела, как мимо окна кафе прошел, ступая мелкими, точно робкими, шажками, маленький старичок-священник.

– Чувствую запрет. Главное, что *все они были*...

– Не были, а *есть*. Мы-то с тобой это знаем.

В оконное стекло стукнули крупные капли дождя. На соседнюю стоянку подъехала машина. Из нее выбрался Олег и, открыв боковую дверцу, извлек за руку моложавую худую брюнетку. Других свободных мест в кафе уже не было, и, когда они вошли, я позвала их за наш столик.

– Это мой бывший одноклассник, – представила я Олега художнику Б. – Бизнесмен, герой нашего времени.

– А это моя бывшая одноклассница, – обратившись к спутнице с улыбкой, сказал Олег, – с которой мы знакомы не два дня, как с тобой, а ровно триста лет. Три века враждовали и только недавно простили друг друга.

И эффектная брюнетка, посмотрев сначала на меня, а потом на Олега, засмеялась.

1. – Скажи мне, чадо, веруешь ли во апостольскую церковь? – Верую. [↑](#footnote-ref-1)